

Л.И. Сараскина

«Наметив подходящую жертву...» Стандарты интерпретаций

«Родя, мы с тобой!»

(Надпись на стене у «квартиры» Раскольникова в С.-Петербурге)

«Жалко Алену Ивановну!»

(Надпись на стене у «квартиры» Раскольникова в С.-Петербурге).

«Это старухи сами написали»

(Примечание к предыдущей надписи. Слышала от Н.В. Черновой)

В февральском номере «Отечественных записок» за 1881 год, то есть сразу после смерти Ф.Д. Достоевского, была опубликована статья Н.К. Михайловского «Записки современника». Авторитетный критик, уже не раз высказывавшийся о романах писателя, коснулся на этот раз приемов наказания персонажей в тех случаях, когда автор, по выражению критика, считал их *дерзостными врагами общества*. «Наметив подходящую жертву, Достоевский отнимает у нее Бога и делает это так просто и механически, что точно крышку с миски снимает. Отымет Бога и смотрит: как себя ведет в этом положении жертва? Само собою разумеется, что испытуемый немедленно начинает совершать ряд более или менее гнусных преступлений. Но это не беда: для преступлений есть искупляющее страдание и, затем, всепрощающая любовь. Не для всех, однако, и в этом все дело. Если испытуемый, оставшись без Бога, начинает корчиться в судорогах ущемленной совести, то Достоевский поступает с ним сравнительно милостиво: проволочив жертву по целому ряду гнусностей, он ее отправляет на каторгу или к “монаху-советодателю” и там ее, самоуничоженную и смиренную, осеняет крылом всепрощающей любви (Раскольников, Дмитрий Карамазов, дерзостный мужик Влас...) Если жертва упорствует и до конца чинит “бунт”, как называется одна характерная глава в “Братьях Карамазовых”, бунт против Бога, порядка вещей и обязательности страдания (из той же главы “Бунт” особенно ясно видно, что, бунт надо понимать именно в этих трех направлениях зараз), то Достоевский заставляет ее повеситься, застрелиться, утопиться, опять-таки прогнав предварительно сквозь строй подлости и преступлений (Свидригайлов, Ставрогин, Кириллов, Иван Карамазов, Смердяков). Наконец, если испытуемый, оставшись без Бога, даже и не упорствует, а чувствует себя совершенно спокойно, то Достоевский дарует ему и жизнь и свободу, но казнит его при этом самою в своем роде лютою казнью: он его делает медным лбом и мерзавцем ниже самого низкого, какую-то гадину. Таковы многие действующие лица “Бесов”, таков Ракитин в “Братьях Карамазовых”. В изображении этих людей и их судьбы злонамеренность Достоевского чувствуется особенно сильно и соответственных страниц нельзя читать без презрительности¹.

Легко обнаружить неправоту Михайловского, легко увидеть все его издевки и натяжки. Доказательства очевидны: у «необходимой жертвы» (буду

говорить пока только о «Преступлении и наказании») Бог не отнят. «Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» (6; 34), — пишет ему мать: письмо получено накануне убийства. Но Пульхерия Александровна напрасно волнуется: сын, хотя креста не носит, не забыл Бога: «Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!» (6; 50) — и это всего за сутки до «предприятия».

Молитва и «проклятая мечта» парадоксальным образом уживаются; в подготовительных материалах кроткая молитва даже «предписана» герою: «Молитва его по приходе от Мармеладовых: кротко — “Господи! Если это покушение над старухой слепой, тупой, никому не нужной, грех после того что я хотел посвятить себя, то обличи меня. Я строго судил себя, не тщеславье, и если б тщеславье, то это законно. Зачем ты мне дал силы? Без этих денег не мог и жить”» (7; 132). Таким образом, теорию «крови по совести» сочиняет и пробу теории делает человек, от Бога не отрекшийся и еще до убийства осознавший, что не вынесет крови; его тошнит от одной мысли об этом². После убийства он «на всякий случай» просит Поленьку молиться «за раба Родиона» (6; 147); позже просит об этом мать (6; 399), излагает Порфирию содержание своей статьи и на вопрос: «Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?» — твердо отвечает: «Верую» (6; 201): и в Бога, и в воскресение Лазаря, и буквально. Противоположные мысли стоят рядом: и про то, что «дети — Христов образ» (6; 252), и про желание власти «над всею дрожащею тварью и над всем муравейником» (6; 253), и это желание обернулось «напутствием» Соне после чтения главы о Лазаре: «Вот цель! Помни это!» (там же)³.

Родион Раскольников далек от мысли, будто если Бога нет — всё позволено; он «позволяет» себе это «всё», не веря в будущую жизнь (6; 221), но и не отрицая Бога.

Есть две логики по поводу совместимости «мечты» и молитвы. Первая. Раскольников — христианин, его путь — в «Иерусалим», к новому смыслу жизни; он трагический герой и титан⁴, но он убил — отвратительно, с мерзкими тошнотворными подробностями, убил «для себя», и значит, прежде всего он преступник: его верования, сам его статус «недалеко от веры» не только не смягчают вины, но, напротив, утяжеляют ее, ибо, убив, он переступил через заповеди, в которые верил, убил главный принцип жизнеустройства, на котором, по Новому Завету, должен стоять христианский мир. Точно так же молитва к Господу не облегчает, а утяжеляет грех того крестьянина из рассказа князя Мышкина, что зарезал своего приятеля за серебряные часы (8; 183): преступник «уж до того верует, что и людей режет по молитве». Вряд ли Господь радуется молитве, глядя с небес, как чадо убивает товарища, будто барана, и снимает с мертвого часы⁵.

И вот логика «навыворот»: да, Раскольников умышленный убийца, но он христианин, он ищет путь к себе, через преступление и наказание, через возвращение к людям, через любовь, и потому будет спасен⁶. Картина выглядит так, будто Достоевский ничего другого и не мог предложить трагическому герою, кроме двойного убийства, чтобы в конце концов привести к полной и несомненной вере, как будто и способа другого поверить в Бога и бессмертие у человека нет, и потому — «Убий!». Фарс по Михайловскому: Достоевский научил, а Раскольников убил.

Однако достаточно задать себе простой вопрос, исходя из духа действительной жизни, то есть примеряя историю к себе: что бы избрали для судьбы Роди его мать и сестра, и его покойная невеста, и Соня — воздержаться от убийства, даже и не веря в воскресение Лазаря, или все же сделать то, что сделал Родя, с его верой в Лазаря воскresшего и с его убеждением, что без преступления он бы не обрел пути истинного. Показательно, что размыщение Раскольникова — «в последней главе, в каторге, он говорит, что без этого преступления он бы не обрел в себе *таких* вопросов, желаний, чувств, потребностей, стремлений и развития» (7: 140) — остается в черновых записях и не воспроизводится в тексте романа: слишком высока цена *развития*, слишком близко стоит она к пресловутому «цель оправдывает средства», слишком кощунственно это *убийство заповеди Божьей ради Бога*. Я думаю, каждый человек, независимо от убеждений и верований, избрал бы путь воздержания от убийства — даже и ценой медленного развития, или развития не в «ту» сторону. Невозможно согласиться с позицией жестоковыпного (изверского) неофитского христианства, когда чем хуже, тем лучше, когда не важен путь, важен результат^{*}.

И теперь о пути к спасению. Накануне признания, все еще не осознавая своего преступления, Раскольников говорит Дуне: «Почему лупить в людей бомбами, правильною осадой, более почтенная форма?.. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления! Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!.. Если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан!» (6; 400). И через полтора года, уже на каторге, он стыдится только того, что **погиб** «так слепо, безнадежно, глухо и глупо» (6; 417); его ожесточенная совесть не находит никакой особенно ужасной вины в происшедшем, кроме разве простого промаха. «И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы —

* На мой вопрос, почему Достоевский не дар топор Разумихину, чтобы и его пустить по пути «в Иерусалим», коллега-докладчик Сыромятников О.И., доказывавший, что Раскольников через свое преступление пришел к Богу и потому оправдан в глазах истинно верующих людей, уверенно ответил: «Так Разумихин же вопиющая посредственность!» То есть настолько посредственность, что и убить никого не собрался, чтобы к Богу прийти. И это о Разумихине, в совершенстве владеющем тремя европейскими языками, зарабатывающем себе на хлеб уроками и переводами, готовым поделиться последним рублем с Родей и не бросившим его в несчастье, будущем муже Дуни! (Заседание XXXIV Международных чтений «Достоевский и мировая культура» в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в С.-Петербурге 13 ноября 2009 года).

ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении» (6; 417)⁷. Он не раскаивался даже «для протокола», он признавал вину только в том, что не вынес своего шага, хотя ведь и заранее знал, что не вынесет. Он страдал от мысли, зачем после всего не убил себя? «Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?» (6; 418)

И вот, кстати, что о будущем Раскольникова по итогам их нескольких встреч думает Свидригайлов. «Шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большею шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется! Насчет этого пункта этот народ — подлецы» (6; 390). Жить хоть бы и «стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность... Только бы жить, жить и жить» (6; 123), — так говорит и сам Родя, хотя в этой жизни ему, по его вине, «ни об чем, никогда и ни с кем, нельзя теперь говорить» (6; 176).

Как и чем будет спасен Раскольников? В романе сказано: это новая история, история постепенного обновления и перерождения человека. «В сознании должно было выработать что-то совершенно другое... Новая жизнь не даром же ему достается, ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом... Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен» (6; 422). То есть рассказ про убийцу-ипохондрика, бывшего студента, который, забросив учебу, наплевав на уроки, дававших скучное пропитание, пользуется крошечным вдовьим пенсионом матери (120 рублей в год, или 10 рублей в месяц!), получаемым за покойника-мужа, уездного учителя, и не стесняется брать деньги из жалованья (200 рублей в год) сестры-гувернантки, — рассказ этот окончен. Нет оснований сомневаться в намерении Достоевского дать Родиону Романовичу шанс возродиться — это намерение вело писателя от самого замысла, где он полагал, надеялся, что «закон правды и человеческая природа», «Божия правда и земной закон» возьмут свое (28/2; 137).

Но очевидно также, что в пространстве романа «Божия правда и земной закон» сознанием Раскольникова не овладели и «свое не взяли», обещанная же история про великий подвиг тоже никогда не была написана, как не были написаны и многие другие обещанные автором «новые истории»⁸. Но ведь нельзя судить о том, что не написано. Раскольников романа — убийца, и это пожизненное клеймо, несмыываемое, пусть и случилась у него «протокольная» явка с повинной (хотя мы-то знаем, что пошел он сознаваться припертый к стене следователем и толкаемый в спину Соней), а на пути к этому шагу бывал отвратительным — грубым, высокомерным, заносчивым; насмешничал, поучал, и уже входил во вкус «в иных пунктах» (хотя даже Лужин, если бы знал, мог бы сказать ему: а судьи кто, и миссия Роди адвокатировать Соне провалилась бы с треском), а он, при всем ужасе содеянного, готовился к боям с Порфирием, хитрил с Разумихиным, «всем дышлом въезжал в добродетель» (6; 370) перед Свидригайловым, мучил родных и Соню. Ему, даже и воскресшему, просто так

это с рук не сойдет. Ставрогину красные паучки мерещились, Свидригайлова покойница Марфа посещала, жить с этими видениями невмоготу. Вспомним и «Власа»: «Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымешал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою» (23: 36–37).

И главное. Не видели мы у Достоевского обновленных убийц, великих грешников, которые возродились и всё себе простили. Бог-то, по его бесконечному милосердию, может, и простит убийцу, но сам человек Достоевского, если он не медный лоб, такого себе простить не может и жить с этим не умеет. В черновиках к «Подростку» Достоевский писал о «жучке» как о символе «ловушки», «клетки», из которой нет выхода, о невозможности жить после «жучка» (16; 9). А расколотые обухом и острием топора два черепа — это ли не «жучок»? Как Родион Романович своим детям об этом расскажет? Я, дескать, был молод, метил в Наполеоны, теории сочинял, опыты ставил? Или: озлился на весь свет, забился, как паук, в свой угол и вырастил в себе желание осмелиться убить? (6; 318–320).

Вспомним муки «тайного посетителя» из рассказа Зосимы: «Пошли дети: “Как я смею любить, учить и воспитать их, как буду про добродетель им говорить: я кровь пролил”. Дети растут прекрасные, хочется их ласкать: “А я не могу смотреть на их невинные, ясные лики; недостоин того”. Наконец начала ему грозно и горько мерещиться кровь убитой жертвы... кровь, вопиющая об отмщении. Стал он видеть ужасные сны» (14; 279). Вот будущее Роди в том случае, если совесть его напомнит о себе, и он потеряет покой и уверенность в своей правоте. «Разве идучи на страдание, не смываешь уже **вполовину** свое преступление?» (6; 399), — восклицает Дуня. Наверное, она права, но как быть с **другой половиной**? Или следует здесь ожидать сделку — ту, о которой так кстати говорит Иван Карамазов: «Совесть нынешнего преступника весьма и весьма часто вступает с собою в сделки: “Украл дескать, но не на церковь иду, Христу не враг” — вот что говорит себе нынешний преступник сплошь да рядом» (14; 59).

Вспомним и рассказ Макара Ивановича Долгорукого про солдата, который вернулся со службы, ограбил кого-то, не оставив улик, был уже почти оправдан на суде, но не смог этого вынести и «повинился во всем, с плачем и с раскаяньем». Присяжные и тут его оправдали. Пошел солдат на волю, «стал тосковать, задумался, не ест не пьет, с людьми не говорит, а на пятый день взял да и повесился. “Вот каково с грехом-то на душе жить!”» (13: 309–310).

У Раскольникова чувство греха не появляется даже и в эпилоге. Как говорит всё угадавший про него Порфирий Петрович, «убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит» (6; 348). Или Свидригайлова: «Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку! Бегите, молодой человек!» (6; 373). Но герои Достоевского в Америку не бегут и там воскресать не умеют.

Мы не знаем, как развернулась бы (да и развернулась ли бы?) история перерождения и обновления Раскольникова, в которую так хочется верить. Но ведь при способности Достоевского менять свои планы на противоположные, всяко могло бы случиться. Достоевский постоянно выяснял возможность *пределов колебаний героев в сторону добра и зла, исследовал беспричинную прихотливость этих колебаний*. Может, будущий Раскольников окажется тем самым подпольным, который не исправим (16; 330), а ему ведь сидеть еще 7 лет, и может, Соня, тоже по прихотливости колебаний, полюбит другого: такого как Мышкин, или такого, как Рогожин? «*Их воскресила любовь*» (421) — почему, спрашиваю я себя, *их*? Мы как-то пропускаем это «*их*», относящееся тоже и к Соне, несмотря на всю ее набожность. Мы давно записали ее в великие праведницы, хотя она сама считает себя великой грешницей.

Нет ничего пронзительнее, чем две последние страницы эпилога. Это мечта и сердечное упование Достоевского. Но Родя, убивший двух женщин и ставший причиной смерти матери (нравственное чувство Достоевского подсказало ему, что для матери *такое* преступление сына несовместимо с жизнью), весь только в обещаниях. Нового Раскольникова нету, а старый возьмет да и передумает возрождаться. Путь Раскольниковых в XX веке пошел не в сторону личного воскресения, а в сторону массового террора — до него от террора индивидуального один шаг, и в массовости они весьма преуспели. Ведь у Раскольникова тоже было разрешение («лицензия», выданная им себе самим) всего лишь на одно убийство, которое в один момент увеличилось вдвое, а сорви случившийся здесь Кох дверной запор, так увеличилось бы и и втрое. Убийство — занятие заразное, оно затягивает, как наркотик. Как говорит Порфирий, «вам Бог жизнь подготовил (а кто знает, может, и у вас так только дымом пройдет, ничего не будет)» (6; 352). Вспомним, как в один момент лопнуло «воскресение в новую жизнь» Версилова, лопнуло как «надутый пузырь», а уж и вино было выпито за «воскресенье» (13; 395, 413). «Куда нам ехать вместе?.. — говорит Ставрогину Лиза. — Куда-нибудь опять “воскресать”? Нет, уж довольно проб...» (10; 399). «В этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь... Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» (6; 421) — это в «Преступлении и наказании». Но вот в «Бесах»: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь» (10; 402).

«Станьте солнцем, вас все и увидят, — рекомендует Порфирий Раскольникову. — Солнцу прежде всего надо быть солнцем» (6; 352). Станет ли Родя солнцем — неизвестно. В Евангелии сказано: «Праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13: 43). Праведники, а не убийцы и беззаконники. Творчество Достоевского не явило таких историй, где бы убийца, проливший кровь по совести, стал солнцем. Петруша стал медным лбом и гадиной, по Михайловскому. Убийство, даже и при раскаянии, и при наказании,

не обратимо — убитых не вернуть назад.

Теперь о язычнике Свидригайлове, который убил себя без нашего об этом сожаления. Меня всегда поражало, как Раскольников, бегающий от следствия (и мы ведь всей душой за него, а не за Порфирия!), как Раскольников, обо всех имеющий **нравственное** суждение, высказывается об Аркадии Ивановиче как о «грубом злодее и подлеце» (6; 374). Но что именно Свидригайлов на пространстве романа **достоверно**⁹ сделал подлого и преступного? Кутил и играл в карты? Женился на деньгах? Не любил жены? Дважды за семь лет ее стукнул — второй раз, когда узнал, что она присватала Дуне Лужина?¹⁰ Волочился за женщинами? Полюбил Дуню? В мечтах своих давал себе полный простор? Дразнил Раскольникова картинками любовных похождений? О его безобразиях ходит много ужасных слухов, но Достоевский нарочито (в отличие от черновых вариантов) не дал в романе ни одной картины, где бы злодейства были явлены несомненно¹¹; напротив, все слухи тут же и опровергаются, а разносчики слухов дискредитируются. И все его сумасбродства меркнут перед «шагами» Роди.

Для сравнения. Митя Карамазов на весь город кричит, что отца убьет, голову ему проломит. При старце Зосиме восклицает: «Зачем живет такой человек?» (14; 69) Приходит к отцу и таскает за волосы, с грохотом ударяет об пол. «Он успел еще два или три раза ударить лежачего каблуком по лицу. Стариk пронзительно застонал» (14; 128). Урод и монстр, — сказали бы мы, рассуждая в простоте, о таком человеке. А мы Митю любим, и хотеть убить отца ему разрешаем. Легкомысленно считаем, что он на каторгу пошел невинно. Митя Шиллера читает, он у нас широк человек. Он всего только **чуть-чуть** не убил отца, и не потому, что сам себя остановил. А по чуду, ибо сам над собой не властен. Вот если бы Аркадий Иванович отпустил Дуню из запертой комнаты, где стоял под дулом ее револьвера, не по своему мужскому решению, а по ходатайству ангелов, мы бы простили ему такой грех, ибо в наших понятиях желать женщину и добиваться ее хуже, чем желать убить отца. И это много хуже, чем стрелять из револьвера в одержимого страстью, но не любимого мужчину. А ведь Дуня тоже только **случайно** не убила Свидригайлова: револьвер, похищенный ею у него и незаконно хранимый, был заготовлен в сумочке, целилась она прямо в голову, задела по коже черепа, так что кровь «тоненькою струйкой стекала по его правому виску»; 6; 382) и стреляла снова. Осечка. Но Дуню мы ее двумя выстрелами на поражение не укоряем — Свидригайлов язычник, в него стрелять можно.

Но между прочим, он, поступая с Дуней дурно, когда она служила у них гувернанткой, «**одумался и раскаялся** и, вероятно пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности» (6; 29), — то есть письмо Дуни, где она «самым пылким образом и с полным негодованием укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны, поставляла ему на вид, что он отец и семьянин и что, наконец, как гнусно с его стороны мучить и делать несчастною и без того уже несчастную и беззащитную девушку» (6; 30). Пульхерия Александровна

рыдала, читая письмо. И потом это письмо Марфа Петровна возит по домам, показывает, все читают, и Дуня оправдана в глазах общества. Свидригайлов вновь говорит о своем раскаянии, когда приходит к Раскольникову, и Дуня в присутствии Лужина пытается снять часть несправедливых обвинений со Свидригайлова. Пример, чтобы клеветник сам отрекся от клеветы в пользу оклеветанного, просто невиданный. Вот мы и не видим его.

Дуня, отказываясь принять 10 тысяч от Свидригайлова в знак примирения с ним, отвергая его любовь, его руку, попадает в ловушку, согласившись на свидание. Стреляет в него, метя в голову, из его же револьвера. Однако Дуня, как покушавшаяся на жизнь человека, пусть и язычника, тоже подпадает под уголовные санкции, и — тут прав Свидригайлов: «насилие очень трудно будет доказать» (6; 380): с какой стати девушка пошла одна на квартиру к одинокому мужчине, чьи намерения ей известны, и вместе с ним? (Потом такой же смелый шаг совершил Катерина Ахмакова, прия на квартиру к Версилову, и тоже прозвучат выстрелы). Но стрельбу Дуни мы вину ей не ставим. Дуня — красавица, она с Соней подружилась, они вместе плачут о судьбе Роди: Дуня смотрела на Соню с благоговением, а та на нее с восхищением, так что прекрасный образ Дуни как недосягаемое видение навсегда остался в душе Сони, которая, неизвестно, знает ли про Дунины выстрелы. Ведь Дуня ни с кем это не обсуждает, ни с Родей, ни с Соней, ни тем более с маменькой. Что характерно, Дуня и не думает доносить на себя — например, в участок, что-де стреляла в человека и только случайно не убила. И Соня, даже если ей Дуня об этом рассказала (мы того не знаем), не посыпает ее каяться. Никто, кроме читателя, так и не узнал, что это вообще случилось. Мне трудно представить себе молодую девушку с крестом на шее, которая мгновенно забывает о том, что стреляла в человека и ранила его в голову.

А Свидригалов реально спасает трех сирот Мармеладовых — от голодной смерти и улицы. «Ее Бог защитит» (6; 246), — говорит Соня про Полечку, которой, как полагает Раскольников, тоже уготован желтый билет. Но защищает ее не Бог, а язычник Свидригайлов, или Бог, но через язычника. «Этих двух птенцов и эту Полечку я помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого, до совершеннолетия, по тысяче пятисот рублей капиталу, чтоб уж совсем Софья Семеновна была покойна. Да и ее из омута вытащу, потому хорошая девушка, так ли? Ну-с, так вы и передайте Авдотье Романовне, что ее десять тысяч я вот так и употребил» (6; 334). «С какими же целями вы так разблаготворились? — спрашивает Раскольников. «А просто, **по человечеству**, не допускаете, что ли?» (6; 334) — это Свидригайлов не только Роде говорит, это он и нам говорит. И ведь он сдержал слово: с детьми Катерины Ивановны он покончил удачно; отыскались лица, с помощью которых можно было поместить всех троих сирот, немедленно, в весьма приличные для них заведения; ибо сирот с капиталом поместить гораздо легче, чем сирот нищих (6; 336). Почему мы верим в доброту Раскольникова, когда он отдает деньги на похороны Мармеладова, и не верим Свидригайлову, когда он отдает

деньги на сирот Мармеладовых, и подозреваем у него дурные, едва ли не педофильские цели? (6; 358). И Соне дает деньги, 3 тысячи, чтобы в Сибирь ехала за Родей, и была с ним рядом все каторжные годы¹². И невесту свою обеспечил, подарив 15 тысяч... Во всякое время вовсе не каждый богач способен на такие жесты, даже и накануне последнего вояжа. «Бросая ваше семя, бросая вашу “милостыню”, ваше добре в каком бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно приобщаетесь один к другому... И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества?» — рассуждает Ипполит Терентьев (8; 336). Но Свидригайлова мы не удостаиваем заповеди «по плодам их узнаете их».

Но, может, это Достоевский столь бесчувствен и действительно поступает с героями по насмешливой схеме Михайловского? Думаю, нет. Он от нас не скрывает ни убогого детства Смердякова, презренного не только отцом, но и кровными братьями, ни отвратительных безобразий Мити, пролившего кровь и отца, и воспитателя своего Григория, ни выстрелы Дуни, ни попустительство Алеши, проморгавшего трагедию в своей семье. Не прячет он и добрых поступков Свидригайлова. «По распоряжению Свидригайлова, панихиды служились два раза в день, аккуратно» (6; 336). А мы не засчитываем ему не только «мгновений ужасной немой борьбы в его душе» (6; 382), но даже и панихид. Завороженные нашими двойными стандартами — к христианам и к язычникам — избегаем видеть очевидное: что нет похорон Ф.П. Карамазова — сыновья его не хоронят и не поминают. А ведь есть поминки по Мармеладову и панихида по Катерине Ивановне. И заметим, Соня служит панихиду только по Лизавете (6; 249). Жертвы вычеркнуты из сознания тех, кто их убил: «старушонка вздор» (6; 211), о ней нет сожаления, к ней нет сострадания¹³. Родя не видит в ней человека, а только принцип — и люто ненавидит ее (6; 211). «Кажется, бы другой раз убил, если б очнулась!» И во сне он снова убивает ее, ударяя по темени раз и другой, а потом бешено колотит, изо всей силы (6; 213). И почти не думает о Лизавете, «точно и не убивал» (6; 212). И физически не выносит мать и сестру (6; 212). И мечтает убить Порфирия или Свидригайлова, чувствует, что в состоянии это сделать (6; 342).

Раскольников, горячечно объясняя Соне «сценарий» своего прошедшего «предприятия», произносит фразу такого отчаянного цинизма, что она, эта фраза, поначалу как-то даже сбивает с толку, настолько она «о двух концах». «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я...» (6; 322). Но старушонку, которую он считает неизмеримо ниже себя, убил **он**, именно **он**, а не кто-то другой, и именно **убил**. И Лизавету (про которую вовсе не помнит) **убил тоже он**. Но не в его привычках думать об убитых им людях, он **себе** важнее, чем убитые — и это главная улика его преступления, это — почерк убийства, это судьба убийцы, это тот именно пункт, который воспрепятствует искреннему покаянию, исправлению и возрождению. Раскольников прав только

в одном — что ухлопал себя **навеки**, и в какой-то миг ему дано осознать свою **вечную** погибель.

Меня преследует мысль о предвзятости нашего суда над героями Достоевского, с которыми мы обходимся по понятиям, **наши — не наши**. Родя — **наш**, пусть и убил, все равно воскреснет и спасется. Но получается, что христианам убивать можно? Что факт обращения к Богу и к вере пусть даже и в неведомом будущем — это индульгенция для настоящего? А если посмотреть на все это глазами жертвы? С точки зрения ее интересов? Родя, убей он двух важных барынь, со связями и капиталом, восемью годами каторги не отделался бы; человеческий масштаб жертвы, как говорят юристы, не позволил бы. Но мало кто способен смотреть на убийство с позиции жертвы, особенно такой, которую некому оплакать и за которую некому отомстить. Дурных, порченых персонажей не жалко — что старика Карамазова, что Федьку Каторжного, что «Карпа с винтом», что Лебядкиных, что старуху-процентщицу. Между прочим, старуха и ее сестра — обе православные, обе верующие, старуха написала завещание в пользу монастыря, а юродивая Лизавета даже «Бога узрит» (6; 249). Картина немыслимая: православный душегубец Родя, на которого коллективной филологической мыслью возложена миссия религиозного возрождения и воскресения, убил двух православных, — и спасен. Язычник Свидригайлов, который убил всего только себя, — и погиб. Ответ не сходится, ибо мы всегда видим картину глазами Роди — гаденькая регистраторша, с жиценькой косичкой на затылке, почему и не тюкнуть. Мы сами, прямо по Михайловскому, одержимы чувством Ивана Карамазова — насчет двух гадов. Хотя признать в Раскольникове гада, пусть и с высшими понятиями, пусть и очень несчастного, убившего свою душу, опозорившего родных и погубившего мать, мы не можем, с нашим выборочным правосудием и нашим выборочным милосердием.

Достоевского, как и иных его героев, всю жизнь «Бог мучил»: существованием Божьим он «сознательно и бессознательно» мучился всю свою жизнь (29/1; 117). Он так же, как и персонажи его романов, был «дитя неверия и сомнения», в силу своей страстности «везде и во всем» доходил до последних пределов и «всю жизнь за черту переходил» (28/2; 207). Как и они, писатель искал свой путь в «Иерусалим», к Новой Земле и к Новому Небу. Но Достоевский для самопознания и богопознания не нуждался убивать. На собственном примере он показал, что неверие и сомнение совсем не обязательные атрибуты личного злодейства. Он, как и Раскольников, прошел каторгу, но не за убийство, а за чтение письма Белинского к Гоголю. Однажды он написал: «Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла» (28/2; 235). Спасает *работа*, как спасала она Достоевского, как спасала она Разумихина; как спасала она Ивана Денисовича Шухова. Это — радикальная и сокровенная разница в вопросах спасения и воскресения. Иначе история Раскольникова на его пути к Богу, который есть Добро и Любовь, а совсем не языческий алтарь, видится как история кровавого жертвоприношения. В черновых записях к «Преступлению и наказанию» несчастный пьяненький

чиновник (будущий Мармеладов) восклицает: «Кто бы ни был живущий, хотя бы в замазке по горло, но если только он и в самом деле живущий, то он страдает, а стало быть, ему Христос нужен, а стало быть, будет Христос» (7; 87). Заметим: страдающий герой говорит о замазке по горло, но не о крови по локоть: такие слова в соседстве с мыслями о Христе не выговариваются.

Вот Зосима проповедует молодой вдове из крестьян, кающейся в грехе: видимо, пожелала смерти больному старику-мужу, который избивал ее. «Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе — и всё Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простили Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может, совсем, такого греха великого человека, который бы истощил бесконечную Божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботясь, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит» (14; 48). Смог бы Зосима сказать то же самое не вдове, грешной по своим тайным помыслам, а убийце, грешнику по пролитой крови? Смог бы Зосима переступить через эту кровь, если бы Раскольников пришел к нему на исповедь и каялся не «протокольно», а воистину? Теоретически смог бы — ведь «об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно» (14; 48). Ну, а если бы убитые были хорошо знакомы Зосиме, если бы Лизавета, которая «Бога узрит», приходила бы к старцу в монастырь, как приходили другие верующие бабы, и именно на этот монастырь старуха-процентщица завещала бы свои капиталы?

Достоевский-христианин знал про кающихся убийц и их статус перед Богом, кажется, все. Поэтому как художник он так и не смог переступить через кровь Раскольникова и сочинить новую вдохновенную историю о спасенном и воскресшем для земной жизни преступнике. Этот неоспоримый факт — лучшее опровержение тех критиков, которые вменяли писателю *специальный умысел*, о чем писал не только Михайловский, но и, например, А. Волынский: «Вам с диким упрямством навязывается категорическое условие — познать добро через зло, падение и грех»¹⁴. Столетие спустя, усвоив кровавые опыты XX века, о природе злодейства точно и трезво написал Солженицын: человек, чтобы сделать зло, должен прежде осознать его как добро. «Идеология! — это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею»¹⁵.

Раскольников оправдывает свое злодейство до конца, цепко держится за свою идею («теорию», «проклятую мечту»), осознавая ее как благо. Солженицын определяет злодейство как величину *пороговую*: «Колеблется, мечется человек всю жизнь между злом и добром, оскользается, срывается, карабкается, раскаивается, снова затемняется, но пока не переступлен порог злодейства — в его возможностях возврат, и сам он — еще в объеме нашей надежды. Когда же густотою злых поступков... он вдруг переходит через порог — он ушел из человечества. И может быть — без возврата»¹⁶.

...Один из злодеев, висевший на кресте направо от Иисуса, говорил

другому, слева, злословившему Христа: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23: 41–43).

Христос, уже распятый, прощает злодея, распятого рядом: на кресте, среди повешенных и распятых, действуют совсем другие правила. Впрочем, о том, как пребывал в раю распятый и прощенный Христом злодей, нам ничего не известно.

- ¹ Отечественные записки, 1881. № 2. С. 258–259. См. также: *Михайловский Н.К.* Полн. собр. Соч.: В 5 т. Т. 5. СПб., 1908. С. 428–429.
- ² См.: «Да что же это я! — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении, — ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли наяву стошило и в ужас бросило...» (6; 50). См. также: «Я это должен был знать, — думал он с горькою усмешкой, — и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться! Я обязан был заранее знать... Э! да ведь я же заранее и знал!...» — прошептал он в отчаянии» (6; 210).
- ³ Раскольников дразнит Соню, провоцирует: «Да, может, и Бога-то совсем нет, — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее» (246).
- ⁴ См.: *Тихомиров Б.Н.* К осмыслению глубинной перспективы романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура. Альманах № 2. СПб., 1994. С. 25–41.
- ⁵ См.: «Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной каморке, ложиться спать. Но один у другого подглядел, в последние два дня, часы, серебряные, на бисерном желтом сундуке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный, и, по крестьянскому быту, совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы и да того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: “Господи, прости ради Христа!” — зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы» (8; 183).
- ⁶ См.: «В романе перед нами две истории: о человеке, который на наших глазах совершил страшное преступление (двойное убийство) — и был спасен, и о человеке, который на наших глазах предполагавшегося преступления не совершил (отпустил Дуню) — и погиб. Перед нами два пути — преступника-христианина и удержавшегося от преступления язычника» (*Касаткина Т.А.* По поводу суждений об антисемитизме Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 22. М., 2007. С. 427).
- ⁷ «Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово “злодеяние”? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною» (6; 417).
- ⁸ Многие обещания автора по поводу новых историй не сбылись. Так, отношения с Ахмаковой, на которые намекает Аркадий в конце романа, — «это уже другая история, совсем новая история, и даже, может быть, вся она еще в будущем» (13; 447). «И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, — не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек!» (15; 31)
- ⁹ Все свидетели дурных поступков Свидригайлова подмочены и дискредитированы. См.: «У ней жила дальняя родственница, племянница кажется, глухонемая, девочка лет пятнадцати и даже четырнадцати, которую эта Ресслих беспредельно ненавидела и каждым куском попрекала; даже бесчеловечно била. Раз она найдена была на чердаке удавившейся. Присуждено, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но вследствии явился, однако, донос, что ребенок был... жестоко оскорблена Свидригайловой. Правда, все это было темно, донос был от другой же немки, отъявленной женщины и не имевшей доверия; наконец, в сущности, и доноса не было, благодаря стараниям и деньгам Марфы Петровны; все ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многознаменателен. Вы, конечно, Авдотья Романовна, слышали тоже у них об истории с человеком Филиппом, умершим от истязаний, лет шесть назад, еще во время крепостного права. — Я слышала, напротив, что этот Филипп сам удавился. — Точно так-с, но принудила или, лучше сказать, склонила его к насильственной смерти беспрерывная система гонений и взысканий господина Свидригайлова. — Я не знаю этого, — сухо ответила Дуня, — я слышала только какую-то очень странную историю, что этот Филипп был какой-то ипохондрик, какой-то домашний философ, люди говорили "зачитался", и что удавился он более от насмешек, а не от побоев господина Свидригайлова. А он при мне хорошо обходился с людьми, и люди его даже любили, хотя и действительно тоже винили его в смерти Филиппа» (6; 228).
- ¹⁰ См.: «Я ударил всего только два раза хлыстиком, даже знаков не оказалось...» (6; 216); «Не то чтоб уж я его очень терпеть не мог, но через него, однако, и вышла эта ссора моя с Марфой Петровной, когда я узнал, что она эту свадьбу состряпала» (6; 223).
- ¹¹ См.: «Моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. То есть не подумайте, чтоб я опасался чего-нибудь там этакого: все это произведено было в совершенном порядке и с полной точности: медицинское следствие обнаружило апоплексию, происшедшую от купания сейчас после плотного обеда, с выпитою чуть не бутылкой вина, да и ничего другого и обнаружить оно не могло... Нет-с, я вот что про себя думал некоторое время, вот особенно в дороге, в вагоне сидя: не способствовал ли я всему этому... несчастью, как-нибудь там раздражением нравственно или чем-нибудь в этом роде? Но заключил, что и этого

положительно быть не могло» (6; 215).

¹² См.: «Соня, с помощью денег, оставленных ей Свидригайловым, давно уже собралась и изготовилась последовать за партией арестантов, в которой будет отправить и он. Об этом никогда ни слова не было упомянуто между ею и Раскольниковым; но оба знали, что это так будет» (6; 414).

¹³ См.: «Ну а действительно-то гениальные, — нахмурясь, спросил Разумихин, — вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую? — Зачем тут слово: должны? Тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдает, если жаль жертву... Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть, — прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора» (6; 203).

¹⁴ Цит. по: Котельников В.А. «Что есть истина?» (Литературные версии критического реализма). СПб.: Пушкинский Дом, 2009. С. 499.

¹⁵ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 4 // Солженицын А.И. Собр. соч.: В 9 т. М.: Терра, 1999–2005. Т. 4. 1999. С. 178.

¹⁶ Там же. С. 179.